

Мила БОРН

*Мила Борн родилась в 1972 году в Волгограде. Окончила Литературный институт им. Горького и сценарный факультет ВГИКа. Публиковалась в российских и зарубежных изданиях: «Артикуляция», «Фабрика литературы», «Вторник», «Литоскоп», «Литерратура», «Берлин. Берега» и др. Автор книги рассказов «Голодный остров» (М.: Стеклограф, 2020).*

## РАССКАЗЫ

### Дети Гамельна

Андрюша был, в общем-то, довольно красив – вихрастый, долговязый, с пухлыми губами. Но в нашем классе он учился хуже всех. Поэтому девочки не любили Андрюшу. Никто не хотел садиться с ним за одну парту. Он так и горевал в одиночестве, заброшенный на камчатку.

Почему девочки были так жестоки с Андрюшей? Я до сих пор не могу ответить себе на этот вопрос. Вряд ли в свои двенадцать-тринадцать девочки видели в нем будущего неудачника и раздолбая. Тогда что же было в Андрюше не так?

Может, об этом могла рассказать его мама? Усталая и потрепанная, она тащила на себе непутевого сына Андрюшу, а вместе с ним и его не просыхающего отца, который привез когда-то ее из области. Она не раз порывалась от них уходить. Но всякий раз почему-то возвращалась. Обычно ночью, чтобы соседи не видели синяков на ее застывшем, выражающем только удивление лице. Неслышно крутила ключом в замке, просачивалась в тишину спящего дома. И до утра чистила заваленную мусором квартиру, скребла заблеваный мужем туалет, собирала пивные бутылки. А потом на повеселевшей кухне жарила для Андрюши блины, гладила ему в школу свежую рубашку и собирала портфель.

Время от времени она притаскивала для сына немислимые для того времени вещи – канадскую кожаную куртку, американские «мартинсы» или даже японский кассетный магнитофон. Мы заходились завистью, когда Андрюша, выходя из подъезда своей качающейся, как у отца, походкой, нес на плече поблескивающий на солнце кассетник SONY, разрывая тишину нашего двора ритмами его любимого Modern Talking.

Андрюша был первым, у кого в нашем доме появились настоящие фигурные коньки. Сам он не очень любил ходить на каток. Но другим свою обнову одалживал. Узнав про это, мы с подружкой Маринкой, жившей, как и я, в одном доме с Андрюшей, стали записываться к нему в очередь на коньки. Помню, пришла моя очередь на воскресенье. Я договорилась заранее с приятелями из соседнего двора, что в полдень встретимся все на катке. Сама вскочила чуть свет, чтобы бежать к Андрюше, пока мою очередь никто не перехватил. Наспех оделась. Завтракать не стала. И, пока родители не поднялись, выскользнула из квартиры.

Открыл мне сам Андрюша, с унылой физиономией, жующий, как всегда, американскую жвачку. Сказал бесцветно:

– А, это ты?

Потащился к кладовке, достал оттуда заветные коньки, связанные между собой шнурками – наверняка моей подружкой Маринкой, – и протянул мне. Я с готовностью шагнула навстречу. Но Андрюша вдруг ловко, как от огня, отдернул свою руку. Я зачерпнула пустоту и потеряла равновесие.

– Ты что?

– Что?

– Передумал, что ли?  
– Ага, – как бы лениво ответил Андрюша, вытащил изо рта жвачку и прилепил ее к дверному косяку.

Я обиделась.

– Ты же обещал!

Андрюша, пробуя на вкус свою новую, крепнущую власть, устало выдохнул.

– Да мало ли что я тебе обещал.

Я посмотрела исподлобья.

– Так не поступают пионеры.

– А я же не пионер, – ловко парировал Андрюша. – Ты ведь сама на собрании голосовала против меня.

Я смолчала, потому что сказанное им было правдой. Он тоже помолчал, раскачивая из стороны в сторону желанные коньки, побитые уже в некоторых местах.

– Так, значит, больше кататься не дашь?

Он не ответил. Я повернулась и пошла к двери.

– Ну чего ты? – остановил он. – Дать-то я тебе дам. Только вот за это...

Он сделал паузу, силясь сформулировать новое условие своей щедрости. Я остановилась.

– Только что?

– Только ты мне за это... – повторил он, растягивая слоги.

– Ну что, что?

– Ты мне за это должна показать.

– Что показать? – не понимая, обернулась я.

Андрюша неприятно улыбнулся.

– Ну как что? Сама, что ли, не знаешь?

– Нет, – честно ответила я.

Андрюша закрыл лицо ладонями, сполз по стенке, сел на корточки и закатился неприятным смехом.

– Ты прикидываешься? Или правда не понимаешь?

– Нет, – повторила я, начиная чувствовать в словах Андрюши подвох.

Он перестал смеяться. Скривил губы. Бросил перед собой, как приманку, коньки и посмотрел на меня тяжело и с презрением.

– Снимай трусы! Вот что!

От неожиданности я попятилась назад. Он усмехнулся.

– Да ты не бойся! Дома у меня никого нет.

И вдруг пошел на меня, вытянув вперед руку.

– Ну?

Я стала отступать.

– Что «ну»?

– Давай уже, поторапливайся, если хочешь успеть на каток.

Я схватилась за ручку входной двери. Дернула на себя. Хотела выскочить из его квартиры. Но в этот момент Андрюша, споткнувшись о брошенные коньки, повалился на меня. Ухватил за шапку вместе с волосами. И мы начали с ним бороться.

А пока возились в прихожей, входную дверь приоткрыла рука. Кто-то осторожно заглянул вовнутрь. Я подняла голову. Это была Андрюшина мама. Она, прижимая к себе молочный бидон, с испугом уставилась на нас. Жалобно проговорила:

– Андрюша, тебя тут что, обижают?

Он обозлился:

– Да нет. Уже нет. Что ты лезешь?

Отпустив мою шапку, он поднялся на ноги. Поняв, что свободна, я метнулась в дверной проем, оттолкнула с дороги Андрюшину маму, выбила из ее руки тяжелый бидон.

Крышка с грохотом покатила по ступенькам. Молоко потекло. И я, потянув за собой его лужу, наследила через все лестничные пролеты, пока не выбежала из подъезда на снег.

В полдень, как и было оговорено с приятелями, я пришла на каток. Зареванная, остановилась за сугробом. Они, заметив меня, уже разгоряченные, клаца по изрезанному льду своими коньками, обступили. Стали расспрашивать, где коньки. И я начала нести какую-то несусветную ложь про то, что Андрюши не оказалось дома, что я прождала его битый час, но он так и не появился.

– Дурак он, ваш Андрюша! – посочувствовал мне кто-то из приятелей. – Ты с ним больше не дружи.

И пошли кататься дальше. Только один из них с удивлением вытянул руку, показав мне пальцем на подругу Маринку, мелькавшую на катке в Андрюшиных коньках.

На следующую зиму родители купили мне собственные коньки. И случай с Андрюшей постепенно забылся. А через полгода – летом – Андрюша вообще ушел из нашей школы. Потому что мама сунула его в какое-то ПТУ. Там, говорили, он нашел себе наконец компанию. С Андрюшей стали дружить. За иностранные вещи стали наливать и даже приглашать в гости. Еще через полгода он продал и SONY, и кожаную куртку. Потом стал ширяться. И мы даже слышали, будто бы его мама сама доставала ему дурь, особенно когда Андрюшу сильно скручивало и он кричал по ночам.

– Ему даже двадцати не было, – грустно вздохнула бывшая наша отличница Оля, теперь высушенная солярием, покрашенная с избытком блондинка в кожаной узкой юбке.

– А ты откуда знаешь?

– Да я была, когда его хоронили.

– Передоз?

– Вроде того.

– Неудивительно, – почесал свой лысый затылок маленький, в ботинках не по сезону, бывший наш политинформатор Толя. Поговаривали, что он вел криминальную колонку в какой-то местной газете новостей, и такие истории давно не вызывали у него никаких эмоций.

Повисло неловкое молчание. Наша классная физичка после тридцати лет разлуки решила ни с того ни с сего организовать нам встречу одноклассников. Ну, организовала – и ладно. День был выходной. Поэтому мы и притащились. Собрались в своем старом классе, едва угадав друг друга: потасканные, потолстевшие, полысевшие люди. Вместе с физичкой от бывшего класса в сорок человек набралось человек тринадцать. Но она потом рано ушла, потому что дома у нее лежал парализованный муж и его надо было кормить ужином. Мы же остались. И от всеобщей неловкости стали выпивать.

– Да уж, – снова вздохнула Оля. – Бедный Андрюша.

– Да ладно тебе! Вечно ты всех жалеешь! – запротестовала Жанна, бывшая наша троечница, а теперь пухлая, как сдобная булка, тетка с тремя взрослыми детьми от разных мужей.

– Ну а чего? – засмушалась Оля. – Вам разве не жалко? Мать его на похоронах знаете как убивалась. В яму за ним прыгала. Кричала, что без Андрюши не будет жить.

– И что? Прыгнула? – заинтересовался Толя.

– Да нет, слава богу. Удержали. Но лучше бы прыгнула.

– Почему?

– Да у нее потом все равно крыша поехала. Андрюшиного отца в ЛТП засадила. А вместо него взяла из детдома каких-то близнецов.

Мы молча разлили по пластиковым стаканчикам остатки кислого «Киндзмараули» и еще раз чокнулись за встречу.

– Если бы с Андрюшей хоть кто-то дружил, – добавил очкастый, с суровым крестом поверх черного подрясника, Миша, бывшая надежда нашего класса, одаренный в физике мальчик, который давал списывать всем, – с ним бы всего это, может, и не случилось.

– Да, – опять вздохнула Оля. – Он же все время ходил один.

– Ну почему один? – запротестовала Жанна. – С ним Петюня ходил. Вы что, не помните Петюню?

Мы, конечно, Петюню помнили. Он считался грозой в нашем классе. У его матери, помимо самого Петюни, было четверо детей. Она работала на санэпидемстанции, возвращалась домой поздно и мало что успевала по дому. Поэтому жил ее старший Петюня так, как считал нужным. В школе учителя от него плакали. Не помогало ничего – ни родительский комитет, ни комната милиции. У Петюни был русый, кудрявый, никогда не чесаный чуб. И когда его ловили в школе за очередную провинность, он стоял, опустив виновато голову, и яростно сопел из-под своего чуба, который завивался игривыми, какими-то еще детскими колечками.

Особенно доставал Петюня очкастую рыжеволосую училку музыки. Слуха у него не было никакого. И когда на ее уроках он вместо пения принимался орать во всю глотку, музыка покрывалась красными пятнами и выставляла Петюню за дверь. Он обижался, потому что считал, что петь он умеет. Но музыка агрессивно не соглашалась с этим. И однажды терпению Петюни пришел конец.

По школе гуляли слухи, что за музыкашкой ухаживает учитель физкультуры. Но роман у них был тайный, потому что жена физрука работала в нашей же школе и вела русский и математику в младших классах, находившихся в самом дальнем крыле школы. Физрук был человеком спортивным, крепким. Ему, видимо, скучно было со своей математичкой. И поэтому он крутил шашни с рыжей музыкашкой, пока его жена просиживала вечера за проверкой тетрадок первоклассников.

И вот как-то раз, когда на большой перемене все классы высыпали на школьный двор, Петюня подговорил наш класс и повел в спортивный зал. Мы миновали крыло, где сидела школьная администрация, бесшумно прошли мимо кабинета директрисы, нырнули в спортивную раздевалку и из нее уже вышли в спортзал. Остановились возле кладовки, где физрук хранил спортивный инвентарь, вымпелы и другие ценности, которые в свое отсутствие, чтобы не уперли, запирает на ключ. Петюня поднял руку. Прислушался. Весело оглянулся на нас. А потом, торжествуя, рванул на себя дверь кладовки.

Хлипкая щеколда, которая с внутренней стороны охраняла, как оказалась, тайну, со звоном отлетела и покатила по полу. Солнечный свет ворвался в слепую, похожую на мышиную нору, безоконную кладовку. И все мы, пришедшие за Петюней, застыли от неожиданности. У заставленной вымпелами стены спиной к выходу стоял физрук, широко расставивший ноги. Его спортивные штаны висели ниже колен. В обеих руках он крепко держал чьи-то голые ноги. А над его плечом, болезненно щурясь от ворвавшегося света, таранилась на нас через съехавшие на нос очки рыжая голова музыкашки.

Петюнина выходка удалась. Все мы грохнули от смеха. На дикий хохот прибежала директриса. Следом за ней кто-то приволок учительницу русского и математики. Но пока она бежала из своего удаленного корпуса для начальных классов, физрук успел натянуть спортивные штаны на свои крепкие загорелые ягодицы. И стоял теперь с лицом, налитым кровью, перед хохочущей, расшатавшейся от увиденного толпой.

После случившегося и музыкашку, и физрука из школы уволили. Но перед тем как уйти, физрук заманил разбитного чубастого Петюню в свою мышиную кладовку и запер дверь изнутри. Оставшись без поддержки, совсем один, Петюня не стал никого звать на помощь. Он даже не выл, молча снося удары крепкого, мускулистого физрука, которые обрушивались на него вместе с вымпелами и резиновыми мячами, катившимися на Петюню с полок. Он валялся среди этих мячей, разбрызгивая по полу свою кровь, щедро хлеставшую из сломанного носа, пока физрук приговаривал:

– Чтобы не повадно было! Чтобы – урок!

Этот урок из школьной жизни Петюня усвоил, наверное, лучше всего. Потому что, выпустившись из школы в едва початые девяностые, он быстрее остальных приспособился к законам взрослой жизни. И хотя его сломанный нос сросся криво и

выглядел на лице Петюни откровенным уродством, он удачно женился и даже родил дочь. Полностью взял на себя содержание семьи и своих младших братьев и сестер. Стал крышевать местный рынок, который к тому времени опоясал его родную школу с двух сторон. Держал Петюня в страхе пенсионеров и алкашей, торговавших на рынке урожаем со своих доперестроечных дач, отрезал от дневной выручки у колхозников, приезжих из соседних деревень. В целом неплохо жил. На рынке его уважали, потому что был он справедливым и простым. Местная шпана и менты в Петюнину работу не лезли. Трудности были у него только с бомжами. По ночам, когда рынок закрывался, они, словно крысы, начинали лезть из своих щелей и подвалов, резали ножами фанерные загородки рыночных палаток и тащили оттуда все, что можно было украсть. Петюня поначалу крепко надеялся на ментов. Но те с бомжами справлялись плохо, хотя Петюня им и платил. Тогда он плюнул и взялся за дело сам. Стал по ночам выходить на дежурства, караулил, вылавливал зазевавшихся оборванцев и от души крошил их опухшие пьяные морды, приговаривая всякий раз:

– Чтобы не повадно было! Чтобы – урок!

И однажды в своей непростой справедливой работе Петюня не сумел признать еле приметного околавивавшегося возле рынка бомжа, которого он поймал в конце августа на воровстве астраханских арбузов, и в азарте нравоучения выдал ему левый глаз. Бомж, напротив, Петюню узнал, потому что оказался тем самым физруком из его родной школы. После истории с музычкой жизнь его покатила под откос. Учительница математики и русского с ним развелась. Из-за статьи в трудовой книжки в школу его не брали. Первое время бывший физрук еще пытался отчалить к другим берегам, но сил ему, видимо, не хватило. Он стал спиваться. Прибился к местным бомжам, которые ночевали по подвалам и промышляли по ночам. Так бы и жил, если бы не злосчастная встреча с Петюней, которую он расценил как отмщение, и потерянный левый глаз, за который через неделю после случившегося, ночью, бесшумно, как мышь, налетев на бывшего ученика, физрук пырнул его тупым кухонным ножом, неровно, но сильно ткнув Петюню в печень.

– А что стало с музычкой, никто не слышал? – поинтересовалась Вероника, бывшая наша очкастая зубрила, которая потом удачно выскочила замуж за какого-то менеджера из банка и никогда больше не работала.

Все промолчали. Действительно, после истории с физруком она канула словно в воду. Никто ее больше не видел и не слышал, будто бы ее и не было вовсе в нашей школе. На смену ей пришел толстый и румяный баянист. На каждый урок он притаскивал нам слова новой песни. И мы, не боясь больше отсутствия у нас каких бы то ни было певческих талантов, рвали глотки про светлое будущее пионерии, партию и коммунизм.

Мы заскучали. Вина больше не было. Но и догоняться никто не хотел.

– А я про дочку Петюнину слышала, – восторженно сказала наша бывшая спортсменка, очень коротко стриженная, как и в детстве, Татьяна.

На нашу встречу она притащила какую-то тощую, туберкулезного вида девицу, с которой жила уже третий год. Все повернулись к Татьяне.

– Говорили, когда бомж Петюню порезал, жена его уехала из нашего района.

– А куда? – спросил Толя.

– Вроде бы в центре города теперь живет.

– Удачно она от нас переехала, – усмехнулась Жанна.

– Да она там за баяниста какого-то вышла. Он Петюнину дочку в музыкалку отдал. Она теперь там и работает.

Мы опять замолчали. Воспоминания все больше и больше забирали желание говорить. За широкими окнами школы сгущались сумерки. Давно уже пора было расходиться. Но никто почему-то не шел. Я вдруг вспомнила, что в сумке у меня завалилась старая шоколадка. Вытащила ее, разломала на кусочки, для всех.

– А знаете, – сказал Толя, – я бы удивился, если бы жизнь Петюни сложилась иначе.

– Почему?

– Ну а что ему еще светило, что?

Миша, потрогав крест на подряснике и убедившись, что он на месте, запротестовал:

– Ты хочешь сказать, что все у него было predetermined?

– А разве нет? Он же рос классическим быдлом.

Миша отрицательно покачал головой.

– Я не согласен.

– Почему?

– Да потому что такое могло случиться с любым из нас.

– С какого это перепугу?

– Время такое было.

– Да что ты на время киваешь?

– А вы разве не помните нашу Наташу? Не помните?

Мы задержали дыхание и в темноте подняли головы. Тревожно посмотрели друг на друга. Жанна тяжело, как-то по-матерински вздохнула.

– Миш, может, не надо про это вспоминать?

Мы закивали, согласившись с Жанной. Но Наташу помнили, конечно, все, красивую, развитую не по годам Наташу. Каштановая, завитая плойкой челка, туфельки на каблукках, подол школьного платья, самовольно подрезанный выше колен. Она даже на картошку ездила с нами, аккуратно подводя тонкие стрелки над ресницами. Мама ее похожа была на кинозвезду, хотя и работала билетершей в районном кинотеатре. Всегда смеющаяся, нарядная, она эту красоту передавала и Наташе. Два раза неделю она отправляла дочку в клуб на бальные танцы, где учителем ее был какой-то бывший московский балерун с непривычным для нас женским именем Валентин. Мы не совсем понимали, зачем Наташа учится этим бальным танцам. Где это она собиралась их танцевать? Мальчишки наши считали ее воображалой. Но Наташа любила ходить в свой клуб. И учитель ей нравился. Мне даже казалось, что Наташа в него чуть-чуть влюблена.

Я с удовольствием приходила в Наташин дом. Он казался мне каким-то воздушным и изысканным – совсем не похожим ни на мой дом, ни на дома моих одноклассников. Я даже немного завидовала тому, что Наташа каждый день возвращается в этот милый, наполненный радостью и красотой мир. В детской комнате у нее стоял огромный аквариум, в котором плавали золотые рыбки. Наташа ухаживала за ними. И всерьез говорила, что рыбки ее волшебные. Им можно загадывать свои самые заветные желания.

– А заветное у тебя какое? – спрашивала я, будто подглядывая за ней.

– Я хотела бы стать танцовщицей.

– Ты?

– Я. А что тут такого? – с достоинством отвечала Наташа. – Стану танцовщицей и уеду в Москву.

– А зачем тебе в Москву? Разве тут плохо?

– Ты не понимаешь! Здесь дыра. А в Москве – известность, поклонники, красивая жизнь.

– Откуда ты знаешь? Ты была в Москве?

– Нет, не была. Но мне об этом рассказывал Валентин, мой учитель, – смущаясь, говорила Наташа.

– И ты вправду думаешь, что твои рыбки исполнят эту мечту?

– Ну а что? – смеялась она. – Что им стоит! Ведь я не такая, как все.

Это было истинной правдой. Наташа была особенной. Другая. На ней словно лежала печать грядущего счастья – во всех его абсолютных смыслах, которые были понятны мне. Хотя в рыбок я, конечно, не верила. К тому же отец Наташи был милиционером. И вряд ли бы он разрешил своей дочери уехать непонятно куда, в Москву. Он, наверное, и маме Наташе не разрешил. Хотя я была уверена, что она мечтала о том

же. Потому что вполне могла стать настоящей артисткой, достойной и поклонников, и красивой жизни. Наташин отец был слеплен из другого теста. Всю свою жизнь он работал в районной милиции. Серьезно относился к своей работе. На форменном ремне носил кобуру с настоящим пистолетом. И это странное, хотя и едва уловимое ощущение запрета на другую, лучшую жизнь витало в их доме. Я это чувствовала.

Наташа собирала открытки с фотографиями известных танцоров и танцовщиц. Вместе с мамой они клеили их в альбомы, а потом показывали мне, рассказывая по очереди об их удивительной, сказочной жизни. За этим занятием мы засиживались часто до самого вечера. Пока не приходил с работы Наташин папа. И в этот миг – я видела – и мама, и сама Наташа тут же сжимались, превращаясь в каких-то беззащитных и маленьких улиток, готовых в любую минуту бесшумно скрыться в своих раковинах. Отец Наташи долго, неторопливо разувался в прихожей. Снимал свою милицейскую куртку и аккуратно вешал ее в шкаф. Все понимали, что он устал от тяжелого физического труда. Мне приходилось напряженно ждать, пока он наконец разделется, потом уйдет в кухню, где уже звякала суетливо крышками многочисленных кастрюлек красивая Наташина мама, и станет можно, не путаясь у него под ногами, незаметно проскользнуть мимо его милицейских ботинок, мимо оставленного в прихожей широкого кожаного ремня с кобурой и выбраться из их дома, отяжелевшего от прихода отца.

Я совсем не помню, кто именно разболтал о том, что стряслось с Наташей. Мы тогда готовились к Новому году. В актовом зале школы уже стояла наряженная елка. И мы, старшие классы, репетировали праздничный концерт. Кто-то собирался петь под гитару, кто-то готовился прочитать стихи о первой любви, а Наташа должна была исполнить танец в образе какой-то Айседоры. Мама сшила Наташе красивое легкое платье с открытыми плечами и спиной. А еще подарила удивительной красоты алый газовый шарф.

Перед выступлением Наташа сильно волновалась. И не зря. Политинформатор Толя, у которого не было никаких артистических талантов, и поэтому его назначили отвечать за музыкальное сопровождение, перепутал в темноте пластинки. И когда Наташа вышла на сцену и ее осветил первый луч рапида, высветивший сияющий алый шарф, грянул вдруг гимн Советского Союза. Наташа растерялась, отвернулась от зрителей, показав свою красивую голую спину. Зрители сначала, конечно, рассмеялись. Но тут же поддержали нашу Айседору аплодисментами. Толя тем временем исправил ошибку. И Наташа начала танцевать.

Мы следили за ее исполнением, перестав дышать. В своем танце она казалась такой изящной, хрупкой и вдохновенной, что я подумала: не нужно ей никаких золотых рыбок, даже если они и вправду волшебные, эти рыбки. И даже учитель балетных танцев ей не нужен. Наташа была рождена для сцены, для миллионов любящих ее глаз и красивой жизни. Ей действительно нечего было делать в нашей дыре.

Почти закончив свой номер, она закружилась, закружилась и вдруг неожиданно оступилась. Зал, завороченный ее танцем, вздрогнул, охнул, нервно зашептал. Но Наташа грациозно удержалась. Закончила свой величественный танец. И вместе с шарфом опустила на пол одно колено. Поклонилась. Рассеянно посмотрела в зал и выскользнула из луча рапида.

Потрясенная ее танцем, бросилась вслед за ней, выбираясь из темного зала через десятки чьих-то коленей. Выбежала в коридор. Но Наташи нигде не было. Я хотела отыскать ее, сказать ей, как здорово она выступила со своим номером и как здорово, что мы с ней подруги. Но она будто исчезла. И когда все выступающие из старших классов вышли на финальный поклон, Наташа тоже не появилась.

Я нашла ее в туалете. Случайно. Хвост алого газового шарфа, растянувшегося по пути ее бегства, выдал Наташу. Она сидела, обхватив руками низенький школьный унитаз. Ее голая спина выгибалась в конвульсиях, выдавливавших из Наташиного хрупкого тела остатки рвоты. В нерешительности я остановилась перед ней.

– Что с тобой?

Она услышала вопрос. Медленно, будто сонная, отодвинула от щеки мокрую прядь волос и повернула ко мне свое красивое лицо, перепачканное размазанным макияжем.

– Кажется, – с трудом сказала она, – я залетела.

– Ты?!

Она кивнула.

– Давно?

– Месяца три или четыре. Я не понимаю, как это считать.

– А кто-то еще об этом знает?

Наташа покачала отрицательно головой и отвернулась к закрашенному белой краской окну.

– Только ты папе моему не говори, – холодно сказала она. – Он меня убьет.

Через неделю слух о Наташе докатился до директрисы, крепкой туши в массивных очках с редкими начесанными на затылок седыми волосами и большими передними зубами желтого цвета, делавшими ее похожей на огромную жирную крысу, носившую свое необъятное тело на опасных высоких шпильках. Директриса срочно созвала педсовет. По его результатам решили срочно, пока слух о беременности ученицы не поразил целую школу, освободить всех учеников от уроков и собрать их на внеочередную школьную линейку.

Спорить с решением директрисы никто из учителей не стал. С ней вообще никто никогда не спорил. Нрав у нее был крутой. А воинственный голос слышался во всех уголках школы, когда кто-то из учителей или – что еще хуже – учеников отправлялся к ней на расправу. Единственным человеком, кто не имел страха перед директрисой, был ее собственный сын, который учился в лучшем классе нашей школы и был похож на свою мать – такой же тучный, с крепкой тушей и желтыми передними зубами. Все в школе знали: он идет на золотую медаль, чтобы потом поступить в МГУ. Директриса жила этими проектами и лезла из кожи вон, чтобы ничего в ее планах не сдвинулось со своего положенного места.

На третьем уроке всех учеников согнали в школьный спортзал и построили в два ряда – от первого класса до десятого. Когда наконец все замолчали, директриса вышла на середину линейки и взяла слово. Ее громкий, раскатистый голос разлетелся по спортзалу, ставшему вдруг для него очень тесным. Мы подтянулись изо всех сил и замерли.

– Мы собрались с вами сегодня не просто так, – начала она как бы торжественно.

Так в школе начинались любые мероприятия, когда ученики должны были почувствовать важность и особую значимость момента. Директриса так говорила, когда кого-то принимали в пионеры и комсомол или когда в школу приходили ветераны войны.

– Мы, – повысила она немного свой командный голос, – собрались с вами потому, что в стенах нашей школы...

Она сделала паузу, будто бы подбирая слова. Но на самом деле своими маленькими, как бусины, и хищными глазками следила за всеми, кто стоял по обе стороны от нее. И я, скользнув взглядом по учителям, стоявшим на противоположной стороне линейки – лицом к нам, заметила, насколько они взволнованы.

– ...потому что в стенах нашей школы произошло ЧП! – закончила директриса.

Дети зашумели. Классные руководители принялись сердито на них шикать. А учительница иностранных языков сказала географичке:

– Превратили школу в дом терпимости!

И та покачала головой.

Тем временем откуда-то из головной толпы, стоявшей позади директрисы, вытолкнули Наташу. И она впервые показалась мне не такой уж и красивой, как раньше, напомнив теперь какую-то жалкую, сморщенную грушу. Она стояла, втянув голову в плечи, и смотрела, не отрываясь, в пол, будто бы где-то там было ее спасение от всего, что сейчас происходило.

Ученики, пытаясь ее рассмотреть получше, стали вытягивать шеи. А кто-то из первоклассников даже вывалился из строя. Но его спешно вернули на место.

– Суть этого ЧП, – стала крепнуть в голосе директриса, – в том, что, пока вы все прилежно учились и честно работали над тем, чтобы мы, взрослые, могли вами гордиться, кое-кто из наших учеников вдруг решил, что школа – это не храм знаний, а вертеп. Место разврата!

Над моим затылком кто-то из взрослых прошипел:

– И зачем только вечерние школы отменили? Перешла бы в вечернюю школу, и никто бы ничего не узнал.

Директриса сделала решительный шаг вперед и наклонилась над Наташей. Сверкнула очками.

– Мы, конечно же, разберемся во всем случившемся. Найдем виновных, подключим органы милиции и районо. Наложим дисциплинарные взыскания! Накажем! Но мы...

Тут она впервые подняла руку и пальцем указала на сторбившуюся Наташу.

– ...не позволим таким, как она, позорить нашу советскую школу!

Спортзал зашелестел голосами. Директриса замахала руками, призывая учеников к тишине и вниманию. Но собравшимся было уже сложно замолчать. Тогда она совсем уже выкрикнула:

– Мы никому не позволим ронять лицо нашей школы в грязь!

Распалившись до предела, она сдвинулась вдруг с места и тяжело, опасно пошла вдоль рядов, выдавливая своими шпильками ямки в крашенных досках пола. Казалось, она вглядывается в глаза каждого, каждого ребенка, будто бы выжигая в наших головах даже мысль о том, чтобы повторить поступок Наташи.

– И пусть каждый, кто меня сейчас слышит, запомнит раз и навсегда! Мы не потерпим такого! Мы накажем!

Она резко остановилась, будто бы вспомнив о Наташе. И посмотрела на нее уничтожающе, в упор.

С улицы в этот момент глянуло необыкновенно яркое для зимы солнце. Его лучи, путаясь в заградительных сетках спортзала, заиграли бликами на полу и легко коснулись стоявшей в середине спортзала Наташи. Солнечные зайчики заиграли на ее лице, ее платье. И почему-то напомнили мне Наташиных рыбок. «Не волшебные, не волшебные», – напряженно про себя стала повторять я, пока не вынырнула наконец из этого заклинания.

– Поэтому повторяем еще раз! Все вместе! – царила над толпой директриса.

Снова подняла руку, махнула ей, как артиллерист перед залпом снаряда. И спортзал грохнул сотнями детских голосов:

– Позор! Позор! Позор!

В тот день никто из нашего класса больше Наташу не видел. Быть может, она затерялась в общей толпе, когда все закончилось и дети ринулись вон из спортзала. Или кто-то из учителей уволок ее в кабинет директрисы, чтобы судить Наташу дальше. Я же никак не могла понять, как с такой благополучной, такой талантливой девочкой могло случиться такое. Ведь у Наташи папа был милиционером. Он никогда бы ей этого не позволил. А теперь что? Что с нею будет?

Хотелось скорее побежать к ней домой – немедленно, не теряя ни минуты. Хотелось ворваться в ее комнату с аквариумом, обнять ее и закричать: мы ведь подруги с тобой, ты не думай, это не я тебя сдала, не я. Мне вообще неизвестно, что за сволочь пошла и рассказала это учителям, что за гадина решила тебя уничтожить, чтобы никогда больше не мучиться завистью от того, что ты такая красивая, такая счастливая и однажды уедешь из нашей дыры в Москву.

После линейки директриса направилась в свой кабинет. Оттуда она стала звонить маме Наташи, в кинотеатр. Но у них там перед Новым годом был какой-то аврал. Маму к

телефону не позвали, потому что не нашли. И тогда директриса позвонила Наташиному отцу в милицейский участок. Ничего не объясняя, попросила его срочно прийти в школу.

Отец сорвался с работы. В волнении прибежал домой. Наскоро переоделся в гражданское. Строго спросил у Наташи, тихо сидевшей в своей детской комнате и кормившей аквариумных рыбок, почему его вызвали в школу. Но ничего вразумительного не добился. Решил: как всегда, предпраздничная нагрузка родительского комитета. И, махнув рукой, хлопнул дверью.

Оставшись одна, Наташа встала и медленно, как во сне, обошла все комнаты квартиры. Времени долго решать у нее не было. Заметила, что в прихожей лежат брошенные наспех отцом рабочая куртка и кобура. Остановилась. Взяла кобуру. Расстегнула ее. Заглянула внутрь. Оттуда выглядывала ребристая рукоять табельного пистолета. Наташа подумала. Сунула руку в кобуру, взялась за холодную, удивившую тяжестью металла рукоять. А потом мешкать не стала, решительно выстрелив из пистолета себе в рот.

Она жила еще несколько минут, потому что не знала, что для верности ствол пистолета нужно было направить точно по центру и чуть-чуть вверх. Поэтому она еще ползала по квартире, карабкалась на стены, потом на диван. Зачем-то стала набирать телефон кинотеатра. Попросила позвать маму. Но ее снова не нашли. Тогда она открыла входную дверь, выползла на лестничную площадку и стала стучаться к соседям. В конце концов ей стало холодно. Она вернулась в квартиру, доползла до своей детской комнаты, вскарабкалась на кровать и завернулась в одеяло. Какое-то время она еще смотрела на своих золотых рыбок, плавно движущихся в чистой, прозрачной воде. И наконец уснула, забыв закрыть глаза.

– А не слышал никто, – спросила Вероника и взяла последний кусочек моей шоколадки с фольги, – сын директрисы поступил тогда в МГУ?

Отличница Аня засмеялась.

– Еще бы он не поступил! У его мамы связи были до самой Камчатки.

– А вот я слышал, – задумчиво сказал Миша, – что директрису нашу из школы выперли.

– Да ладно! Разве она не на пенсию ушла?

– Не-а, – замотал головой Миша. – Ей статью припаяли. За растрату.

– Не может такого быть!

– А сын ее в Москве не остался, – добавила Оля. – Я слышала, дела у него там пошли плохо. И он вернулся. Директрису-то нашу после суда инсульт разбил. Она потом кое-как еще ковыляла, хоть и ходила под себя. Но сын жить с ней не захотел. И в итоге выпер ее из дома.

– Как это выпер?

– Да так, – усмехнулась Оля.

– А где же она стала жить?

– Я слышал, – перебил Толя, – она года два в собственном гараже жила.

– Года два? А потом?

– А потом в пожаре сгорела.

– Ужас какой!

– Это точно.

Все затихли. И только Жанна почему-то вспомнила:

– А наш Олег?

– Что Олег?

– Он ведь тоже сгорел, – сказала Жанна.

Все мы знали, что в десятом классе у них с Олегом была любовь. Но потом почему-то они разбежались.

– А как же он так? – растерянно спросил Толя.

– Неизвестно. Он же ритуальщиком черным работал. Дом себе возле кладбища построил. Чтобы от работы недалеко. Деньги хорошие имел. Может, его из-за денег и подожгли.

– А что милиция? Не нашла, кто поджег?

– Нет, конечно. Дом-то полностью сгорел. Никаких следов не осталось.

– Жалко Олега, – вздохнула Оля. – Он всем девчонкам, помните, на Восьмое марта ручки всегда дарил.

– А мне, – вставил Миша, – Игорька нашего жалко.

– Это который в Чечню попал?

– Ага.

– Глупо он как-то погиб. Ни за что.

– Как это ни за что? Там же война шла.

– Ну и что, что война! Ринатик тоже был на войне. Но вернулся. Помните нашего Ринатика?

– Это татарин с первой парты?

– Ага. Ну который котлеты еще в школьной столовке никогда не ел. Боялся, что они из свинины.

– Да, помним. Как не помнить? Ну а толку-то, что он вернулся.

– В смысле?

– Его же мать в дурку упекла через год после Беслана.

– Почему?

– Да потому что овощем стал наш Ринатик.

– М-да...

– А по мне, лучше овощем, чем кашей.

– Это ты о ком?

– О Вадимыче нашем.

– Господи, а с ним-то что случилось?

– Как? Вы не знаете?

– Нет.

– Он же еще в девяностых с какой-то братвой связался. Хаты они у пенсионеров отжимали. Он на бизнесе этом и поднялся. «Ауди» себе прикупил. Баб каких-то на ней катал. С ними и дурь курил, пока мозги совсем не отсохли. А потом...

– Что потом?

– А потом его КамАЗ переехал. Ночью на окружной. От Вадимыча одна каша осталась на асфальте.

– А где это случилось? У нас?

– Да, за нашим карьером. Знаете, где карьер?

– Ну знаем. Еще бы не знать. Там же Ленку нашли. Ленку нашу помните?

– Это которой горло порезали?

– Ага.

– Ужас какой! А за что ее?

– У нее же мать в «Интуристе» работала. Познакомила Ленку с какими-то америкосами. Те ей джинсы стали возить. А Ленка их тут продавала раз в десять дороже. И сама, дура, в шмотках иностранных щеголяла. Может, кто и позавидовал.

– А кто убил ее, не нашли?

– Не-а. Как тут найдешь? Она всю зиму в карьере прикопанная пролежала. Ее пацаны местные случайно нашли.

– Да уж, вот ее-то совсем жалко. Она ж по географии у нас крутая была!

– И в длину прыгала лучше всех!

– Да нет, в длину лучше всех прыгал Костян. Вы не помните, что ли?

– Это которого в 96-м на стройке плитой задавило?

– Да. Он тогда дома кооперативные строил. У них там вообще никакой техники безопасности не было. Все решали только деньги.

– А это он на Машке нашей женат был?

– Да, он! Только это недолго было. Потом, когда его плитой придавило, Машка с какими-то челноками московскими связалась. Денег больших задолжала. Закрутило ее. Ну и...

За окном стало совсем темно. Мы уже перестали видеть друг друга в темноте. Но ни у кого не хватало решимости включить свет, хотя все мы прекрасно помнили, где в этом классе находится выключатель. Казалось, что мы, как дети, боимся встать и разрушить эту сгустившуюся вокруг нас темноту. Будто бы в этой темноте таилось что-то невозможно страшное. Быть может, призраки тех, чьи имена мы вспомнили, вызвав тем самым сюда, из их забытой потусторонности.

Снизу притопала маленькая помятая старушка с цинковым ведром и грубо сколоченной – наверное, нынешними учениками на уроке труда, – шваброй. Воинственно заглянула в класс. Погремела ключами.

– Ну вы что, до утра тут сидеть собираетесь?

Все сразу ожили, стали облегченно вставать со своих мест, натягивать на себя шапки и пальто. Потом высыпали на улицу в только что выпавший снег.

– Ну что, – как-то светло, с облегчением засмеялся вдруг Толя. – Встретимся снова через тридцать лет?

Мы все засмеялись, оценив его шутку. И только Миша возразил:

– Ты доживи еще до того времени.

– Да что нам теперь будет! – искренне вернул ему Толя. – Времена-то уже не те.

– Как знать, как знать, – сказал себе в бороду Миша.

Мы попрощались друг с другом и пошли по домам, каждый в свою сторону, как это было когда-то в детстве. Правда, за компанию со мной идти было теперь некому. Подруга Маринка, с которой мы когда-то делили Андрюшины коньки, сразу же после окончания школы выскочила замуж за Колюню, белобрысого парня из нашего дома в интеллигентного вида очках. Он был года на два старше Маринки. Учился хорошо. Собирался поступать в политехнический, хотя тянула его только мать. Но перед самым выпуском Колюни из школы вернулся из Афгана его старший брат. По ночам стал буйнить, ломать мебель и бить посуду. Колюня вместе с матерью ловил брата в коридоре. Вместе они наваливались на него, дюжего, в рваном тельнике, бьющегося в припадке, и лупили его головой об пол, долго и монотонно, пока тот наконец не затихал.

Это обстоятельство отодвинуло мечту Колюни о политехническом. К тому же в его жизни появилась Маринка, а через год и двое их близнецов. Чтобы прокормить семью, Колюня пошел на завод. Честно приносил всю зарплату домой. Но Маринка жить в одной квартире с Колюниным братом быстро устала. И потому молодая семья переехала в соседний дом, откуда Колюня все так же по ночам бегал помогать матери с братом.

Я побрела одна, загребая ногами легкий, еще не слежавшийся снег, скрипучий и переливающийся в свете сгорбившихся над школьным двором фонарей. Остановилась. Вокруг не было уже никого. Оглянулась назад. Школу уже заперли изнутри – никак не вернуться. И свет выключили. Даже в коридоре. За школьным забором чернели подъезды домов с вечно выкрученными лампочками и гулкие норы арок, в которых, казалось, может прятаться кто угодно.

Последняя мысль обожгла меня. Вдруг вспомнилось, как в начале девяностых из соседнего от меня дома неожиданно пропала школьница. Пока ее искали, пропала другая. Ровно через две недели. Когда их количество перевалило за десять, районная милиция встала на уши. Подключились городские власти. Приехали даже люди из Москвы. Летние каникулы тем временем подходили к концу. Нужно было готовить детей к новому учебному году. А школьницы все не находились.

Но самым страшным было то, что каждые две недели обнаруживалась новая жертва. И ею неизменно была какая-нибудь девочка лет тринадцати-пятнадцати. Такого в нашем районе не случалось еще никогда. От страха люди забились в свои квартиры. Попрятали детей. Дворы опустели. Старики сокрушались, вспоминая спокойные советские годы, когда детей можно было отпускать гулять одних и быть уверенными, что они вернутся целыми и невредимыми. По вечерам, высунувшись из окон квартир, матери звали своих детей домой. И они возвращались.

Люди в милицейской форме ходили день за днем от одного нашего дома к другому. Опрашивали жильцов. Искали улики. Но усилия казались напрасными. Школьницы так и не находились. Конец лета был безнадежно испорчен. Мы сидели дома и смотрели по телевизору балет «Лебединое озеро», который то и дело прерывался сообщениями ГКЧП. Но нам это было неинтересно. Настоящее и щекочущее нервы пряталось у нас во дворах и подворотнях, на детских площадках и в подъездах с выбитыми стеклами окон. Мы боялись высунуться из дома, боялись друг с другом говорить. Потому что опасность была разлита среди нас. Каждый взрослый мог оказаться похитителем детей.

Пропавшие школьницы нашлись только через год. Причем нашлись сразу все, одинаково задушенные и сложенные аккуратно в сыром подвале заброшенного дома, который стоял на отшибе честного сектора и от своей давней необитаемости кишел крысами. Голодные, они выели у школьниц лица. Поэтому опознавать детей пришлось по одежде.

А совсем скоро милиция поймала подозреваемого. И пока люди в форме держали оборону от родителей найденных школьниц, маньяк и насильник трясся от напряжения и все отрицал. Бился в истерике, кричал, что совершена страшная ошибка. Но в какой-то момент наконец сдался и, как заваленный зверь, сознался во всем. Сказал, что только насиловал, а убивать никого не хотел. Но каждый раз боялся, что школьницы окажутся соседями и узнают его.

Дело оказалось очень громким. Фотографии насильника разлетелись по всей стране. Тогда-то мы и узнали, что был им не какой-то там конченный псих или матерый убийца, а наш добрый приятель по детским дворовым играм – белобрысый Колюня в интеллигентного вида очках. Оказалось, что соседи по дому, где он проживал со своей женой и близнецами, неоднократно видели, как Колюня уходит из дома по ночам и возвращается обратно лишь на рассвете.

Маринка, которая долго отказывалась верить в этот бред, в конце концов примирилась. Долго плакала, кидалась в окно. А потом сдала близнецов в детский дом и навсегда уехала из нашего города. Куда, никто не знает до сих пор. Колюне же дали пожизненное. Отправили его в Новочеркасскую колонию, где через год он и повесился. Мать его осталась одна со старшим братом Колюни. Но за несколько лет она наловчилась и уже в одиночку могла заваливать старшего сына по ночам. И долго, монотонно лупила его головой об пол, пока тот наконец не затихал.

Мы долго еще жили в страхе: боялись возвращаться в одиночку по вечерам через арки наших дворов, боялись заходить в темные подъезды. И хотя школьницы пропадать перестали, мы по-прежнему не могли избавиться от ужаса, пожиравшего изнутри. И страшен был уже не мертвый Колюня, а что-то другое – необъяснимое, безличное и как будто не существующее, но опасное, очень опасное, переродившееся в наших умах во что-то большее – какое-то коварное чудовище, которое умеет приманить. А приманив, безжалостно убивает.

Постепенно страхи наши стали сходить на нет. Кто-то, правда, потом слышал, будто бы школьницы начали пропадать опять. Но было это уже не у нас в районе, а где-то на другом конце города, в отдаленной его части, где нормальные люди не живут, а селятся только рабочие химзавода и спившаяся городская беднота. Впрочем, нас этот кошмар уже никак не касался.

Я потопталась на месте. Все-таки нужно было идти домой. Ноги совсем замерзли. Но от воспоминания про Колюню стало вдруг так мутно, что десяток шагов, который оставался мне до ворот школы, стал казаться теперь непреодолимым. Я снова обернулась. Безлюдно. «Сколько же времени уже», – тоскливо подумала я. Снег идти перестал. Фонари равнодушно сочлились неонами. На выбеленной целине школьного двора чернела линия только моих следов. А немного поодаль – черная круглая дыра колодца, из которого щедро валил густой белый пар. Я подошла ближе. И не поверила глазам. Колодец был снова открыт, как и много лет назад. Словно кто-то невидимый как бы невзначай оставил вечно запертые двери слегка приоткрытыми. Давай, заходи!

Сколько нам было тогда? Лет по девять? Зима в тот год пришла ранняя, морозная. На футбольном поле школьного двора залили каток и накидали высокую снежную гору. Физрук заставил нас принести на урок лыжи, коньки или санки, в общем, все, что у нас было дома. Это вызвало всеобщее возбуждение. И впервые мы ждали урок физкультуры с бешеным нетерпением.

Митя, сидевший за партой передо мной, щуплый троечник, который боялся выходить к доске и все время у всех списывал, притащил на физкультуру новенькие канадки, которые отец привез ему из командировки. И пока ждал урок, все прятал их и держал за шнурки, боясь, что коньки его кто-то упрет. А когда наконец дождался, первым побежал на каток, никак не мог успокоиться от восторга, хотя кататься совсем еще не умел, все время падал и бился головой об лед. Ему хотелось тренироваться еще и еще, потому что получалось все лучше и лучше. Он бы вообще торчал на этом катке весь день. Но у нас после физкультуры была контрольная по математике. Поэтому после звонка весь класс потянулся обратно в школу.

Митя математику не любил. Контрольные писал всегда плохо. Поэтому терять ему было особенно нечего. И он – была не была – решил математику прогулять. Он спрятался за наваленный сугроб и там стоял, пока физрук загонял нас всех в школу. Пережидая перемену и согревая своим дыханием пальцы в промокших варежках, Митя решал, куда ему лучше пойти кататься. На каток было нельзя. Его мог заметить физрук через окна спортзала. Тогда Митя решил перебраться на другую сторону школы. Такого хорошего льда, как на катке, там, конечно, не было. Но снег на дороге, утопанный детьми еще утром, лежал довольно плотно. И скользить по нему было так же приятно, как и по льду.

Так он и сделал. Перебрался на другую сторону школы и стал тренироваться дальше. Катаясь, не заметил, как пролетел час. И когда одноклассники пошли домой, едва успел снова спрятаться за сугроб. А когда из школы ушел даже физрук, Митя вновь побежал на футбольное поле, не переставая радоваться тому, что за все это время никто его так никто и не хватился.

От своего катания он очнулся только тогда, когда почувствовал, как сильно он замерз. Оглянулся. Заметил, что здание школы уже потонуло в сумерках. Руки в промокших варежках нестерпимо ломило. К тому же он вспомнил, что ботинки, которые он снял перед уроком физкультуры, чтобы переобуться в коньки, остались стоять в школьной раздевалке. Митя посетовал на свою забывчивость. Но делать было нечего. Домой нужно было идти в канадках. И он пошел, елозя лезвиями по дороге и придумывая, что соврет дома по поводу оставленных в школе ботинок.

Дойдя до школьных ворот, он вдруг остановился, заметив в снегу круглую черную яму, от которой медленно поднимался густой белый пар. Митя остановился, замороженный красотой кучевого облака, висевшего прямо над ямой. Подошел поближе, с любопытством заглянул вовнутрь. Яма оказалась открытым колодцем, крышка которого, как перевернутый жук, валялась неподалеку в сугробе. Колодец был заполнен горячим паром – настолько горячим, что снег вокруг колодезной дыры растаял и превратился в покатую ледяную горку.

«Кто открыл его?» – удивился Митя. Разве можно так посреди школы бросить колодец без крышки? Наверное, в трубах, которые закопаны глубоко под землей, что-то

разорвалось. Поэтому люди открыли колодец и спустились туда, чтобы все исправить, все починить. Митя подошел еще ближе. Покричал в яму. Но ему никто не ответил. Тогда Митя снял с замерзших ладоней заледенелые, одеревеневшие варежки, положил их на лед, а сам присел на корточки. Сложил ладони трубкой вокруг губ и снова покричал. Никто по-прежнему не откликнулся. Тогда он протянул руки навстречу пару. От щедрого тепла стало хорошо. Митя прикрыл глаза, ощущая, как от ямы исходит что-то приятное, живое, и почувствовал, как медленно отогреваются его пальцы, перестает мучительно колоть в ладонях и внутри что-то оттаивает и разгоняется по венам. Он еще раз прислушался, не кричит ли ему кто-то в ответ. И только теперь услышал странное – не голос, нет, а что-то другое, похожее на звук инструмента, то ли детской свистульки, то ли какой-то дудочки. «Кто может играть там, на дне аварийного колодца?» – изумился Митя. Наклонился от удивления ближе к источнику звука. Хотел прислушаться к звуку еще сильнее. Но в этот момент полозья его канадок, неожиданно потеряв сцепление со снегом и землей, покатались по ледяной горке, оторвали Митю от земли и с какой-то странной, но неотвратимой силой обрушили в черную колодезную дыру.

Я осторожно подошла ближе. Из колодца все так же, как и много лет назад, валил горячий и густой пар. «Должно быть, – подумала я, – он вырывается из какой-то лопнувшей под землей трубы». И вдруг во мне родилась странная, испугавшая меня мысль: а ведь он, этот Митя, оказался среди нас самым первым. Он, как сакральная жертва, открыл счет всем этим бессмысленным смертям, скатившись на своих новеньких канадках в черную, брошенную кем-то дыру.

Сваренное в кипятке Митино тело нашли только утром – по варежкам, оставленным на краю колодца. После случившегося за его парту не стал садиться никто. Нам казалось, что если сядем, то непременно умрем. Как Митя. А мы не хотели заразиться его смертью.

На следующее утро после случившегося с Митей дыру спешно закрыли. Виноватых – тех, кто на школьном дворе бросил аварийный колодец открытым, – так и не нашли. Наказали первых попавшихся. Но разве этим можно было спасти Митю? А всех остальных? «Встретимся через тридцать лет», – пошутил бывший наш политинформатор Толя. Правда, он забыл уточнить, в какую сторону следует отсчитывать все эти годы, вперед или назад. Ведь сколько бы ни случилось нам еще встретиться, мы все равно будем выпадать в наше прошлое – открытый колодец, который кто-то забыл закрыть. Но кто? Кто этот невидимый, оставивший нам как бы невзначай вечно запертые двери слегка приоткрытыми? Давай, заходи!

Я подошла к черной дыре совсем близко. Присела над валившим из нее густым паром и прислушалась. Откуда-то из колодезной глубины, из подземелья лился едва различимый, тоненький, нежный звук какой-то неземной, волшебной дудочки. Будто бы звал или даже упрашивал сделать шаг, последний шаг.

*Май, 2020*

## **Яма**

*к Феофилу*

Осипов лежал в поле – на спине, неподвижно, вытянувшись во весь свой рост. Лежал после дождя и смотрел на небо, слушая перешептывание влажных трав. Он никак не мог отделаться от удивления, что с ним все случилось так быстро. Память держала еще, как они долго шли через поля в зрелой, тяжелой пшенице, топтали ногами урожай.

А урожай в этот год выдался небывалый. Пшеница стояла высокая, налитая тугим зерном. И все вокруг было таким красивым, что невозможно смотреть. Но Осипов

смотрел на широкие, желтые поля, в которых то тут, то там лежали убитые. Лежали как соломенные снопы, разметанные короткой и сильной бурей. Лица их от дождя были мокрые, будто заплаканные. И еще удивленные от того, что с ними все случилось так неожиданно, так быстро.

Еще Осипов помнил, как они побежали, потом молча сошлись в рукопашном бою, как трещали хрящи и ломались человеческие кости. Люди ревели, как дикие звери, заламывали друг друга, пробивая штыками глаза и рты, закалывая – кого в спину, кого в живот. Он тоже бежал и колотил штыком. Но потом как-то разом все оборвалось. Стихло. И только травы по-прежнему шумели.

Теперь Осипов лежал, разметавшись, и слышал, как в голове у него нарастает какой-то свист. А вместе с ним и боль – тупая, мешавшая отрешению, тянущая и заставлявшая его снова вскочить на ноги и бежать снова вместе с другими через поля. Одежда на нем вся промокла, а ниже пояса плотно приклеилась к телу. Ему даже показалось, что лежит он в какой-то чавкающей жидкой луже. Осипов попробовал встать. Но тело его не слушалось. Ноги горели. Он приподнялся и осмотрел себя. И вдруг заметил, что там, где заканчивались голенища его солдатских сапог, ткань на галифе взбухла какими-то рваными ранами и сочилась теперь чем-то маслянистым и черным. Носки ступней вывернуло назад. А одна нога показалась теперь Осипову сильно короче другой. Он огляделся. На самом краю его слуха пехота раскатисто кричала «Ура-а-а!». Но рядом с ним не было никого. Внутри у него заметался страх: как он с такими ногами выберется теперь отсюда? Как успеет догнать остальных?

Вспомнил, как воздух внезапно разрежало. Его чем-то оглушило, оторвало от земли и наполнило все вокруг каким-то гулом, запечатавшим Осипову и уши, и рот, и глаза. Дыхание его сдавило вонючим и горьким жаром. Он закашлялся и тут же опрокинулся назад, как большая рыба, которую вышвырнуло на берег и неизвестной, чужой силой придавило к земле, вышибая дух, и бросило на рыхлую, словно разрезанную плугом землю. А потом все остановилось и замерло. Нужно было сосредоточиться и вспомнить, что случилось потом, что отбросило его от других, бегущих по полю. Но именно в этой точке память обрывалась и превращалась в его голове в огромное черное пятно.

Осипов повернул голову и осмотрелся вокруг. Он лежал на дне какой-то глубокой ямы, края которой – неровные, острые – еще осыпались вниз, кроша комьями рыхлой земли. В рассеивающемся медленно дыме он увидел, что недалеко от него, на противоположном откосе ямы сидел солдат, но чужой. Часы, медальон, униформа – все на нем было чужое и черное. Только лицо у солдата казалось белым-белым, а на нем россыпью бежали огненные веснушки. Он тяжело, в упор смотрел на Осипова. Но глаза его почему-то не двигались, не моргали. Медленно, будто сонный, он поднял перед собой левую руку. Из зажатого намертво кулака торчали желтые, сухие стебли пшеничных колосьев. Солдат вытянул руку вперед и поманил Осипова, словно звал пойти вместе с собой. В это время другая его рука, сжимавшая ствол винтовки, наклонила его угрожающе в сторону Осипова. Тот дернулся. И стал в поисках собственного оружия судорожно хватать рыхлую, податливую землю. Но оружия нигде не было. Тогда Осипов бросился на откос ямы и, загребая по-собачьи руками, стал ползти вверх. Однако комья земли с еще большей скоростью посыпались на него и тут же отбросили обратно в яму. Тогда он попытался рывком вскочить на ноги. Снова бросился на откос. Но от боли сознание его оборвалось.

Осипов полетел в какую-то гулкую, черную трубу, в конце которой брезжил едва различимый мерцающий свет. Вместе с ним летели другие из его батальона – и живые, и те, кого убило еще весной. На каждом из них были почему-то надеты длинные зимние шинели, еще новые, не пропитанные до картонного хруста ни грязью, ни кровью, ни водкой, ни блевотиной. Солдаты летели как во сне, улыбаясь друг другу и вытянув вперед руки, повернув к мерцающему свету измученные ладони с кровавыми мозолями и обломанными черными ногтями.

Осипов вдруг заметил, что среди них в голубом легком платье летела и Маша, его жена. Волосы ее, светлые и отпущенные до плеч, струились по голой шее, загораживали лицо. За подол ее платья держались дети – их мальчишки-близнецы, похожие на мать, с такими же нежными и пшеничными волосами. Они тоже были одеты по-летнему легко и нарядно. Но во что именно, Осипов не успел разглядеть. А только подумал: как странно, что все они, как и раньше, целы, невредимы. Ведь и дети, и Маша сгорели еще в первый год войны. Он в который раз попытался представить себе запах горящих волос и горячей кожи. Это отрезвило его. Он снова испуганно дернулся. Мерцающий свет заплясал перед его глазами. И сознание вернуло Осипова в яму.

Он открыл глаза. Его тело, распластавшись как звезда, лежало почти на самом дне ямы. Над головой нестерпимо гудело. Где-то на земле яростные звуки металла то сходились, то расходились, словно небесные хляби. Где-то совсем рядом, сотрясая поверхность земли, шли чьи-то танки. Но чьи, Осипов не видел. Не мог видеть. Потому что лежал ниже поверхности земли. Наверное, – подумал он, – меня отбросило взрывом. И эта яма – воронка. Но почему она такая большая?

Он растерянно оглянулся по сторонам. И взгляд его снова уткнулся в чужого солдата, сидящего на противоположном откосе ямы. Его медленно засыпало комьями рыхлой и крупчатой земли, утягивая на дно ямы. Он пытался этому сопротивляться, сгибая в коленях свои здоровые, крепкие ноги в шнурованных ботинках, и каждой по очереди выталкивая свое тело наверх, подальше от Осипова. Кулак с зажатым в нем пучком колосьев он прижимал теперь почему-то к груди, словно пытался удержать внутри себя что-то важное, что забирало у него последние силы. А другой рукой он крепко сжимал ствол своей винтовки, по-прежнему направленной дулом в сторону Осипова. И как-то рассеянно, глупо улыбался. Он, конечно же, видел, как обессилевший, покалеченный Осипов скатился на самое дно ямы и лежал теперь там, жалкий и безоружный, раскидав в разные стороны свои перебитые ноги. И теперь этот чужой солдат мог сделать с ним, с Осиповым, все что угодно. Мог убить. А мог оставить умирать на дне этой чертовой ямы.

Тогда Осипов подался вперед и, пытаясь перекричать лязг и грохот идущих где-то там, наверху, танков, рывкнул, собрав в себе всю свою силу:

– Ну стреляй же! Стреляй! Какая разница теперь, кто подойдет тут из нас первый!

Солдат, пытаясь понять хоть немного из того, что крикнул ему Осипов, вдруг сосредоточился, напряженно подался вперед, сгруппировался и неожиданно выстрелил. Услышав сухой и раскатистый хлопок, Осипов зажмурился. А когда снова открыл глаза, удивился, что солдат больше не смотрит на него. Взгляд его, сделавшийся опять пустым и отрешенным, остановился на чем-то, чего Осипов еще не видел, не понимал.

Тогда Осипов оглянулся. И увидел, что совсем близко от него, шага на три выше по скату воронки, лежит ничком, пробороздив сверху вниз неглубокий скат в земле, какое-то маленькое, совсем не солдатское тело. Через плечо этого тела была переброшена зеленая сумка с крестом посередине. Вытянутая по направлению к Осипову маленькая рука, совсем немного не дотянувшая до него, была похожа на замершую птичку. Голова, уткнувшаяся лицом в рыхлую землю, не двигалась. Вокруг этой головы были рассыпаны волосы – вьющиеся, соломенные. Как у Маши, – зачем-то подумал Осипов. Правда, вместо легкого Машиного платья на той, что лежала теперь, была солдатская гимнастерка, туго перетянутая на талии ремнем, и штаны сильно не по росту.

Осипов замер. Как такое возможно? Здесь. На передовой. В грохоте. В поле. Он высвободил из-под себя руку и подполз к телу. Протянул руку к женской голове. Отодвинул с лица волосы. Посмотрел. Нет, это была не Маша. Конечно, не Маша. Ведь он, Осипов, не сошел еще с ума в этой яме. Он посмотрел снова. Это была совсем юная, незнакомая ему девочка с круглым, почти ангельским лицом. Господи, – испугался Осипов, – и она тоже здесь, вместе со всеми, в этом зловонии и крови?

Она, почувствовав движение у своего лица, очнулась. Открыла глаза и посмотрела на Осипова.

– Кто ты? – растерянно спросил он.

Она открыла рот и так замерла с не выпущенными оттуда словами, будто бы была в обмороке или не расслышала Осипова сквозь грохот канонады.

– Я... Я... С санитарного обоза, – словно задыхаясь, выдавила из себя она. – Приказано вам... вам оказать помощь.

– Какую еще помощь! – еще больше растерялся Осипов и затряс ее за рукав. – Ты что, не видишь, что здесь творится? Уходи отсюда!

– Нет, нет! – замотала она головой, но как-то медленно замотала, пьяно. – Я не могу вас тут бросить! Не могу!

– Да тебя же убьют здесь, дура! – крикнул Осипов, почти по-звериному крикнул.

В это время новый, тяжелый взрыв ухнул и сотряс поле, пригибая колосья к земле, словно порывистый шквал. В яму посыпались какие-то корни, осколки горячего железа и рваные куски человеческих тел. Девочка, словно очнувшись, завизжала, вцепилась испуганно в руку Осипова. Не удержавшись, они оба покатались вниз, к самому центру ямы.

– Уходи! Уходи! – яростно закричал Осипов и стал изо всех сил руками выталкивать девочку из ямы.

Но она все цеплялась и цеплялась, навалившись на него, запутав волосами, пока наконец не ослабила хватку. Замерла.

Осипов потряс ее за плечо. Она не откликнулась. Тогда он сбросил с себя ее тело, перевернул на спину. И только теперь увидел, как по ее животу, вокруг маленькой дырочки на гимнастерке медленно растекается бурое, мокрое пятно. От неожиданности он отдернул руку.

– Кто же это тебя так?

Осипов растерянно задрал голову, посмотрел вверх, где неровные края ямы смыкались вокруг неба. Потом еще раз проследил путь земляной борозды, которую оставила девочка, спускаясь к нему в яму. И вдруг замер. Решительно повернул голову и снова уткнулся взглядом в чужого солдата, сидящего, как и прежде, на противоположной стороне ямы. Взревев, Осипов пополз в его сторону, жадно захватывая пальцами землю и подтягивая свое покалеченное тело к нему, все выше и выше по склону. А тот, не сводя с него ясных остановившихся глаз, еще раз с усилием нажал на курок винтовки. Но пули в стволе больше не было. Осипов решительно, зло рассмеялся. Ухватил солдата за шнурованные ботинки. Потянул его к себе, вниз, на дно ямы. Поднял его под свое отяжелевшее, неуклюжее тело. Дотянулся до шеи. Сдавил ее обеими руками и закричал.

Он кричал долго. Ему даже показалось, что воздух в его легких давно уже кончился, а он все еще кричал и кричал, не разжимая своих рук на его шее. А когда крик его наконец кончился, кончились и силы, оставленные Осиповым для ярости. Он упал на чужого солдата. Его тающее, уходящее от него сознание еще вылавливало доносящиеся откуда-то сверху лязги и скрежеты боя. Но все это становилось все тише и тише, пока не выключилось совсем.

Он очнулся, когда первые утренние лучи легли на его спину и стали согревать волосы. В голове было мутно. Мысли расплывались, опять не давая ему вспомнить, что же случилось вчера. Он поднял руку, которая показалась ему теперь необыкновенно тяжелой, налитой какой-то свинцовой кровью, и провел шершавой ладонью по лицу. Перед глазами тут же возникло все – и нежное голубое небо, и чистые, как простыни, облака, сухие колосья пшеницы, перешептывающиеся прямо над краем ямы. Там, наверху, бой, наверное, уже кончился. Люди собрали оружие и теперь ушли воевать дальше. А здесь стало тихо, необыкновенно тихо. Маленькие птички робко, неуверенно пробовали свои утренние голоса. Стрекотали невидимые кузнечики и жуки. Всем им не было никакого дела до людей, до того, что творится в их чудовищном мире.

Просыпаясь, сознание Осипова стало жадно, как тонущая кошка, цепляться за вчера. Ему вспомнился и бой, и девочка с волосами, как у его Маши, и чужой солдат. Все это стремительно, обжигающе пронеслось в его сознании. Он приподнялся на локтях, повернул голову и увидел, как солдат по-прежнему смотрит на него. Но на лице его с россыпью огненных веснушек не было больше жизни. Солдат глядел на него ясными синими глазами. Но теперь Осипову казалось, что смотрит он не на него, а сквозь него, мимо него на что-то такое, чего Осипов еще не постиг.

Он снова скатился на самое дно ямы и подполз к девочке. Тронул за плечо. Тело ее совсем обмякло. Волосы спутались на лице. И было уже непонятно, спит ли она или уже умерла. Тогда Осипов потянул на себя ее сумку. С треском оборвал ручку. Вытряхнул из сумки несколько индивидуальных пакетов. Разорвал их зубами и вынул оттуда чистые, белые бинты. Не разматывая их, стал прикладывать к ее животу. Однако бинты уже не пропитывались кровью, которая, должно быть, вытекла уже вся.

Осипов наклонился над девочкой, лежавшей неподвижно, на спине. Лицо ее было спокойным, как в безмятежном сне. Но на него уже неотвратимо напал бледно-желтый, так хорошо знакомый Осипову за годы войны, оттенок, который не спутаешь ни с чем. Серое, измученное лицо. Слипшиеся на лбу волосы. Потрескавшиеся губы. Она казалась ему красивой, очень красивой. И похожей на его Машу. Осипов лежал и любовался девочкой. Жаль, – думал он, – если и она умерла.

Он протянул руку и погладил ее ладонь. Она оказалась по-детски нежной и еще теплой, словно фарфоровая чашка с остывающим чаем. Значит, жива еще, – догадался Осипов. Он положил свою голову в ее ладонь и зашелестел своим сорванным, простуженным голосом забытую песню, которую пел когда-то очень давно, в другой жизни, своим собственным детям перед сном.

И вдруг лицо девочки зашевелилось. Белки глаз тревожно заходили под веками. Осипов перестал петь. Убрал голову с ее ладони. Она что-то прошептала. Он не расслышал и потому придвинулся ближе к ее лицу.

– Что? Что сказала?

Она повторила, не открывая глаз:

– Почему вы перестали петь? Пойте! Пойте еще.

Но он промолчал. Не смог больше петь. В горле его вдруг застряло что-то колючее, острое. Он отполз немного от девочки, чтобы она не услышала, как он плачет. Снова поднялся на локтях, обвел взглядом яму, спокойную теперь и дымящуюся уже не в угаре сражения, а в утренних сочных лучах.

Он вернулся обратно к девочке. Она дышала все медленнее и тише, вяло раскачивая своей головой из стороны в сторону и пытаясь, словно ребенок, сбросить с себя подступающую смерть.

– Все-таки глупо как получилось, – сказала она. – Я ведь должна была вынести вас с этого поля. А у меня ничего не получилось. И теперь больше никто не придет за нами.

Осипов придвинулся к ней совсем близко и обнял одной рукой.

– Ну, кто-нибудь и за нами придет. Кто-то же должен прийти.

И он погладил ее по пшеничным волосам. Посмотрел на ее круглое, почти ангельское лицо. Он не знал, что еще может сделать для девочки, так и не сумевшей его спасти. А сделать ему хотелось. Что-то последнее, что-то важное. И тогда Осипов наклонился над ней и поцеловал в губы. Может быть, тем единственным поцелуем, которому суждено было случиться в ее жизни. Девочка улыбнулась в ответ и погладила Осипова по спине своей маленькой птичьей рукой.

А за Осиповым и правда пришли, когда он лежал уже в забытьи на дне ямы, раскинув свои сильные, натруженные войной руки. Санитарный обоз, возвращавшийся в тыл по прифронтовой полосе, наткнулся случайно на раненого солдата, который три дня пролежал с перебитыми ногами на дне воронки. Совсем один.

Лечить его привезли в прифронтовой госпиталь. Там он целые сутки еще валялся в горячке, в бреду, пока не было принято окончательное решение ампутировать ему обе ноги. В операционной его измученное, еще целое тело положили на стол, застеленный серой, с бурыми пятнами простыней. Вместо наркоза влили в него полбутылки самогона. И Осипов снова полетел в какую-то гулкую, черную трубу, в конце которой брезжил едва различимый мерцающий свет. Вместе с ним летели другие из его батальона – и живые, и те, кого убило еще весной. Время от времени Осипов выныривал из своего тягучего обморока, смотрел на людей в халатах через мутную пелену своего сознания. И снова не мог вспомнить, что же случилось с ним вчера. А видел только одно и то же, повторявшееся и повторявшееся по кругу. Маленькая, хрупкая санитарка с каким-то круглым, почти ангельским лицом несла от стола, на котором лежал Осипов, через всю операционную его почерневшие отрезанные ноги. Неторопливо несла и как будто торжественно. А ноги его были тяжелые, такие тяжелые. И потому санитарка несла их, прижимая крепко к груди. Осипов смотрел и смотрел на отделяющиеся от него ноги. И ему почему-то казалось, что это и не ноги совсем. И не санитарка уносит их, чтобы выбросить в большой цинковый таз, где лежат уже и другие ноги, и другие руки. А это Маша, жена его в своем легком, голубом платье. Идет, прижимая к своей груди мальчиков-близнецов, только что родившихся, крепких и розовых. Идет навстречу ему. А он, Осипов, стоит и едва сдерживает улыбку. Он улыбается ей, Маше. И всем тем, кто принес ему эту весть о рождении.

*Ноябрь, 2020  
Берлин*